

Алексей Ткаченко-Гастев

поэтическая серия
Библиотека журнала «Дети Ра»



основана в 2008 году

Алексей Ткаченко-Гастев/

РИСУНКИ НА ПОЛЯХ ПАМЯТИ

Москва
Библиотека журнала «Дети Ра»
2010

Алексей Ткаченко-Гастев
РИСУНКИ НА ПОЛЯХ ПАМЯТИ
М.: Библиотека журнала «Дети Ра» 2010. — 96 с.

ISBN 978-5-91865-041-7

© А. Ткаченко-Гастев — стихи, 2010
© Библиотека журнала «Дети Ра» (издательство
«Вест-Консалтинг») — оригинал-макет, верстка

*Моим родителям,
с благодарностью
за любовь и терпение*

РАССМАТРИВАЯ «РИСУНКИ НА ПОЛЯХ ПАМЯТИ»

Недавно итальянский ученый Лоренцо Макконе доказал математически, что могут быть процессы, в которых время течет в обратном направлении. Это значит, что есть процессы, ведущие к уменьшению энтропии. Подобные события, утверждает Макконе, не оставляют информационных следов, то есть их невозможно зафиксировать и изучать. Математики еще не установили, верно ли доказательство, но ясно и без доказательств: верно. Человеческая жизнь кончается, но каждый миг ее противостоит распаду, то есть человеческая жизнь имеет смысл, а в энтропии его нет. (Не думает ли энтропия иначе?) Тем более это относится к жизни больших художников, музыкантов, поэтов. Вектор творческого времени противоположен вектору распада. И так же, как у Макконе, это событие невидимое — я говорю не о картинах или стихах, но о состоянии, которое выводит на их создание и которое силой своего безмолвия, возможно, одолевает или оспаривает громкую «трансляцию энтропии». Оно, кстати, не обязательно находит свое воплощение или своего зрителя-читателя-слушателя, но от этого не перестает быть звеном мироздания. Кто знает, как далеко распространяется невидимое? Философ писал: «... те события, которые, как принято считать, обновляют лицо земли и дают работу летописцам, значат куда меньше, чем предпринимаемые в тишине и едва ли заметные историку непрестанные усилия человеческого духа понять тайну человеческого бытия...»

Духовное усилие, однако, выражение не очень подходящее к тому, что я хочу сказать. Усилие предполагает целеустремленное осознанное действие, тогда как духовное со-

стояние себя не знает. Это тот момент свободы, в который выпадают. Он непознаваемая «вещь в себе», находящаяся в самом человеке. А потом, когда свобода совершилась и все можно объяснить, появляется необходимость, и в художественном творчестве это — традиция. Уровень творчества зависит, однако, от этой невероятной «добавки» — от свободы. От того, повторяю, момента, когда человек себя не знает. Здесь залог новизны и оригинальности. Свидетельство беззаконности свободы есть в знаменитом пушкинском стихе, отвечающем на вопрос: зачем так, а не иначе? — «Затем, что ветру и орлу / И сердцу девы нет закона. / Гордись: таков и ты поэт, / И для тебя условий нет». Есть это и у Мандельштама: «Пусть я в ответе, но не в убытке — / есть многодонная жизнь вне закона».

Все эти соображения возникли у меня по ходу чтения книги Алексея Ткаченко-Гастева. В его стихах есть та самая свобода, гарантирующая «неподражаемую странность». Вот она:

Тихо в комнате, жарко и пусто.
За рекой умирает зима.
И печально поет Заратустра
на широких июльских холмах.

Я читаю стихи и романы.
Я хочу стать зеленым жучком,
чтобы в воздухе липком и пьяном
просвистеть над любимым плечом,

и зарыться в пушок на затылке
неприметно для бдительных глаз,
и забыть, что Возничий в бутылке
мне письмо роковое принес...

Тихо в комнате, мягко и пусто.
Шапку мнет на тахте Мономах,
и печально поет Заратустра
на широких июльских холмах.

С первых строк это стихотворение, с его обоснованной легкостью и стремительной нежностью, словно бы обречено на удачу.

Если говорить о традиции, то мне вспоминаются вагиновские «опыты соединения слов посредством ритма», вспоминается Заболоцкий — он присутствует даже в названии стихотворения «Чижов» — вот начало:

Чижов — колдун, мечтатель и эстет.
Цветастый шарф обмотан вокруг горла.
Приезжий друг сказал, что он — поэт,
и он ступает широко и гордо.

Есть в стихах Алексея и своеобразный, иногда ироничный, а иногда вполне серьезный символизм, который заставляет вспомнить Александра Блока — скажем, в вышеприведенном стихотворении строка «мне письмо роковое принес» немедленно откликается в нас блоковскими строками: «Есть в напевах твоих сокровенных / роковая о гибели весть...» Не сомневаюсь, что внимательный читатель увидит и другие влияния, потому что в поэте неизбежно происходит воскрешение и преломление опыта великих предшественников.

К наивысшим достижениям сборника я бы отнес «географические» стихи. Это «Петербург», «Забайкалье», «Московское утро», «Рим».

Когда я Рим увидел наяву
впервые после века ожиданий,
догадки смутные сверлили ум,
в висках шумели волны узнаваний.

Да, «волны узнаваний», проходящие сквозь прозрачные объемы стихотворений, «грозный факт» музыки, выстрадавшая свобода — таковы замечательные приметы стихов Алексея Ткаченко-Гастева.

Владимир Гандельман



I

НАБРОСКИ И ПОРТРЕТЫ



* * *

Когда мне не хватает слов,
я пью бальзам ключиц еловых.
Твои глаза в зарницах снов
горят и просят песен новых.

Пусть неумелый разговор
мерцает при свечах неверных.
От крыльев крашенных, фанерных
пусть тени вяжут свой узор.

Я — весь иссохший рыбий мех,
дар истуканов мёртвой веры.
Вдохни в мой прах свой звонкий смех —
пусть полыхает склад фанеры!

Вот — ключ к ларцу моей мечты,
ты в нём увидишь самоцветы.
В них храбрый принц медовым летом
смеясь, вонзит свои персты...

1997

РОЖДЕСТВО

Я стою и ловлю хлопья белого снега,
что летят от её белых ног.
Это так непонятно:
в этих хлопьях сегодня рождается Бог.
Как легко ей бежится!
Ведь там, за углом горизонта,
её снова, дождавшись, подхватят
умелые руки.
Ну а я так и буду стоять и молчать,
ослеплённый пургой новой веры.
Новый год и его новорожденный бог
вслед за старшими братьями мчатся
на огненных лыжах.
И я буду всё так же лелеять их след,
и я буду всё так же один.

1997

* * *

Я узнал тебя только тогда, когда пыль Петрограда
чёрной радугой красила яблоки Летнего сада,
и лукавый закат, зеленея от изнеможенья,
в тусклом небе чертил городских небылиц отраженья.

Непроглядная даль мне сулила то чагу, то клевер.
Отрывной календарь указал дорогу на север.
Я узнал твой дворец по рисунку в потрёпанном свитке —
между масляных пятен и дыр, что проели улитки.

Мне казалось — он близок, но вместе с чертой горизонта
он бежал от меня, утопая в следах мастодонта,
а когда я дошёл и уткнулся в родные перила,
ты ждала у окна и из веток постель мне стелила.

И во сне, как воровка, под фартуком спрятав морковь,
в моё сердце неслышной походкой закралась любовь.

1998

* * *

В тени фруктовых рощ,
в их приторном дыму,
растёт зеленый лук,
сын пасмурных широт.

Средь бабочек и пчёл,
лиловым цветом рдьясь,
он варит свой нектар,
ядрёный, терпкий, злой.

Скажите, как понять
беспечной пчёлке рощ
хмельную горечь грёз
его лиловых глаз?

Скажите, как ему
в беспечной пчёлке рощ
узреть мечту и боль
своих седых корней?

Желтеет горький лук,
роняет едкий сок,
надменно вперив ввысь
косой лиловый глаз.

Желтеет горький лук
в тени фруктовых рощ,
где в каждой ветке — рой,
где в каждой пчёлке — рай.

1998

Старая Ладога

Холодный вихрь над старой Ладогой
повеял пижмой и полынью,
рябиновой корой и радугой,
и млечною речною синью.

Я шёл по каменному берегу,
вдыхая ветер грудью полной,
а старый Волхов нёс размеренно
свои предательские волны.

Седой курган стоял, ссутулившись,
как витязь, побеждённый временем,
и церкви белые, задумавшись,
хранили пасмурное бдение.

И всё, что многолетней стужею
в душе промёрзшей зря таилось,
на волю вырвалось, разбужено
одним рябиновым порывом.

И всё, о чём боялся думать я,
и лишь ночами тяжко грезил,
уже стояло над курганами
тягучей правдой древней песни.

Но в чистом небе сталь жестокая
незримо простирала руки,
зовя меня туда, где властвуют
чужие запахи и звуки.

Что сделала со мною Ладога?
Я знал: чуть станет ночь длиннее,
мне снова — в край бесцветной радугой —
надежды горькие лелеять.

Так пусть меня во внешнем холоде
напрасно ждёт постылый жребий.
Пусть пропадёт синица в золоте.
Я — полечу за той, что в небе.

1997

ПО МОТИВАМ ГЕССЕ

В лютый мороз и в палящий зной
ходит по свету один
в нищенском платье, босой и хромой
моей матери блудный сын.

Там, где под небом поёт река,
между луной и землёй
сын человеческий среди тростника
ищет дорогу домой.

1993, 1998

* * *

Пусть льётся воск на саван мертвеца,
пусть дождь стекает струйкой мне за ворот.
Скупая нежность твоего лица
напомнит мне, как вкрадчив лютый холод.

Тщетна весна в кленовых городах.
Итог моих терзаний прост и близок:
безмолвный правнук в озарённых бездной снах
бесстрастно жжёт сундук моих записок.

1998

* * *

А.С.

Богатырей волнующие плечи
вплывут, как свечи, в мир твоих теней.
Кнутом и пряником следы картечи
в шатрах залечит строгий Гименей.

Твой новый друг на языке разбоя
тебя уверит в том, о чём я робко пел.
Я вновь пройду неузнанный тобою
рядами сношенных тобою душ и тел.

1998

* * *

По вечерам я творю чудеса —
ветхою тросточкой, красною звёздочкой.
Пятится в небо седая роса,
катятся прочь пионерские косточки.

Ветка пространства упала вовне.
Каждое слово умыто закатом.
Ночь повернулась в профиль ко мне —
профиль дрожит на ветру виновато...

1998

* * *

Гибель духа — духота,
если продолжить логический ряд,
начатый Хармсом.
Сегодня утром в поезде я услышал,
как душа задохнулась вдохом дешёвых духов.

1998

НЕЯРКИЙ ПОРТРЕТ НА ПОЛЯХ ПАМЯТИ

Курил. Плевался. Звонил по телефону.
Просил друзей не задавать вопросов.
После себя в квартире у знакомых
оставил дым нездешней папиросы.

Смотрел в окно на тёмные каналы.
Ворчал с похмелья. Во сне смеялся.
Сел на дорожку, пролистал журналы.
В ответ на пожеланья улыбался.

До хрипоты мусолил анекдоты.
Назло соседям промычал «Варяг».
Под утро, не дождавшись самолёта,
ушёл в туман чужого сентября.

1999

* * *

Дланью долгой лился долу,
жадным волком в лунном свете
пил, срывая вёрст оковы,
жёлтой Волги влажный ветер.

Пел и плакал в сонной неге,
мял одежд её вериги...
Бил в лицо рассвет дубовый
лжи заезженной подковой.

1999

РИСУНОК ДЛЯ ВЕРУЮЩЕГО

Она не хочет к тебе,
потому что в твоей душе — темнота.
Она отпила глоток
и не может себе объяснить,
но бежит от неясного и несветлого,
которое уже не в силах её наполнить.

А ты становишься всё темней,
слыша её удаляющиеся шаги.
И насмешку молчания в телефоне,
спрятанную, как отзвук, в отголосках
ласковых фраз.

1999

* * *

Я смеюсь и глумлюсь над довольными жизнью своей,
над уверенными в правоте своих жалких суждений.
Как легко им снискать пиетет у своих сыновей,
ведь житейская мудрость их мнений не знает сомнений!

Пусть кичится и пыжится самодовольство теней,
пусть себя воспевает и пляшет, как клоп на иконе.
Но смешно и грешно, если видеть всё это извне,
щебетанье клопа на готовой сомкнуться ладони.

1999

* * *

Она ходила в кружок при Эрмитаже,
подбирала «Сурка» на блокфлейте,
плела фенечки.
Встретив её спустя десять лет он даже
не спросил, откуда она —
только посмотрел на фотографии
в мамином семейном альбоме,
коснулся рукой её волос,
ничего не сказал.

Потом долго настраивал гитару
и наигрывал на одной струне
арабские напевы.

Она удивлялась,
зачем он говорит ей, что она похожа
на его старую подругу,
уехавшую в далёкую южноамериканскую страну
с сумасшедшим шаманом-кинорежиссёром.
«Чудак» — думала.

Ходить в кино
на новые голливудские фильмы
вскоре оказалось незачем.
Хотя они ходили
и потом даже пытались
что-то друг другу об этом говорить...

Однажды,
просидев за чаем далеко за полночь,
он вдруг резко взял её за плечи,
потянул к себе,
щекотал её шею колючей щекой.
Она грустила, вырывалась,
шептала «не надо!», жалела его.

И он вернулся к себе,
в комнату с видом на никуда не зовущие
далёкие огни.
Потом всё собирался позвонить ей,
хотел придумать стишок или шутку, чтобы
сразу развеселить её
и загладить неловкость.

Думал, думал да и не стал.

1999

* * *

В этой комнате едкий, искусственный дым.
Тлеет палка бикфордова благовония.
Мы поставили лёгкую, летнюю музыку,
но мускулы лиц всё ещё напряжены,
а глаза шарят по углам — куда бы отвернуться?

Потом они закрываются, и я уже не помню, друзья ли это.
Вижу как моя бабушка, в свадебном платье,
медленно идёт по заснеженной тополями улице,
светлой от звона курантов.
А меня здесь нет. Был, да весь вышел.

1999

* * *

Умирать — так с музыкой,
танцую, ворочая ферзями воздуха,
играя Вагнера,
сварганить реквием
(картавое сопрано!),
воркуя гневным беркутом,
где вермут мутной веры гнед.
И где гнёт огнива,
геенна гневных нег
и нежный рёв монад.
Поди ж! Изволь.
Под этот вой нам по плечу
беды бемоль.
И нипочём
предсмертный шёпот собственных
бессонных душ.
И бездны тень бледней.
Включим погромче душ!

1999

* * *

отпечатки пальцев
с глазу на глаз
очи пеной подёрнуты
чёрною ночью
ночью пыльца отличается
помимо прочего
плеснуть ли чаем вчерашним?
свечой полоснуть?
уснуть ли?

очень отрывочно пишется
это от пыли
бездвижно
висит она рыжая
выжжена
почти что не дышится
плиты могильные
движутся

взгляд мой бежит
и ложится лаская
ресниц лоскутами
платок
тобою забытый

замочной скважины
сажень кося
дом просквозит ли
настежь
пассажем небрежным
еле слышно касаясь
края салфетки
рассерженной?

сон разворожен
беззвучно подснежник
свежий
раздвинет бесцветные
веки пейзажа
мелочь бросая
в кошелёчки
взглядов изнеженных

нежною былью колени
пыльца оросит
негодую
заморосит и задует
бывает
бывало и прежде
и будет
нежданный праздник
вежливый странник
попросит остаться
простит
рассказов небрежность
и пальцев моих
опечатки
ветер заснежит.

1999

* * *

«Рыжая Соня в ущелии Смерти...»
«Ты бы мог утонуть в её глазах...»
А завтра ты будешь плевать на ветер
слова её песен — ветер с Запада

будешь вдыхать, ожидая погоды.
«Просто ты не придумал, что сказать...»
Ритм разговоров длиною в полгода:
Запад — Восток — Запад.

А она на три счёта тебе рассказала
всё, что боялся сказать ей ты...
Рыжие гроздья рябин у вокзала,
зелень в глазах темноты.

Просто ей хочется мотоцикл.
Просто у немцев — чувство вины.
Просто теперь на лекции Цыба
призраки взглядов её со спины

дружно накатят и защекочат.
Осенью серой — света немного.
Рыжая ткань обступающей ночи,
зелень рассвета немого.

Она засыпает, склонившись над партой,
в твоей руке согревает руку.
Ответ её песням уносит на Запад
утренний ветер — ветер с Востока.

1999

НЕВЫПОЛНЕННОЕ ОБЕЩАНИЕ

Из окон созвездий песок нависает,
себя рассыпая по зимнему небу.
Изогнутым соколом месяц-скиталец
прядёт небылицы из синего снега.

«Пять лет... Ты не знаешь, что обещала
в словах, продиктованных светом Венеры.
Их жар унесёт тихий ветер с вокзала,
но я не устану хранить эту веру.

Я ждать тебя буду в траве у Дуная,
где храброго князя седеет могила,
в безмолвном спокойствии времени зная
предел ожиданиям, что ты положила.

Я имя твоё повторю, засыпая,
и солнце сквозь сон в его звуках увижу.
Я ждать тебя буду у вьюжного края
Варшавы, Берлина, Парижа...»

1999

* * *

Татьяне

Тихо в комнате, жарко и пусто.
За рекой умирает зима.
И печально поёт Заратустра
на широких июльских холмах.

Я читаю стихи и романы.
Я хочу стать зелёным жучком,
чтобы в воздухе липком и пьяном
просвистеть над любимым плечом,

и зарыться в пушок на затылке
неприметно для бдительных глаз,
и забыть, что Возничий в бутылке
мне письмо роковое принёс...

Тихо в комнате, мягко и пусто.
Шапку мнёт на тахте Мономах,
и печально поет Заратустра
на широких июльских холмах.

2000

* * *

Татьяне

Если тебя нет смысла искать
в тёмных нишах раздумий моих,
утром оставь на постели прядь —
вещего сна неузнанный штрих.
Может быть, ты черкнёшь пару слов
мне о себе? (Себе о себе?)
Новая жизнь раздвигает покров
дней, что я выждал в тихой мольбе.

2000

* * *

Другу

Нет, ты не узнаешь меня ближе,
если выпьем вместе литр спирта.
Лишь по взглядам и по редким строчкам
я узнаю о твоём несчастье.
И о счастье с суженой твоею
я узнаю по горящим точкам
по краям нерезких фотоснимков.
Спи, мой друг, все скоро будем вместе.

2000

СОН В БЕЛУЮ НОЧЬ

Татьяне

Лестница в небо шаткая,
оторопь холода жуткая.
Выйду во двор с тетрадкой,
вздоргну усталой уткою.
Вспомню, как шли мы к далёким мостам
Чижику Пыжику дань платить.
Буду искать следы твои там,
черты лица на память чертить.

Где ты, мой лучик солнечный,
радуга утра ненастного?
Ткани, что стлал мне посол ночной —
жёлтые, синие, красные —
я разложу на свежей траве,
в светлой тени от каменных львов.
Я буду ждать тебя на заре —
ждать из страны, где не встретились вновь,
где твои крылья легки, как шёлк,
где тебе вольно на них парить...
Я за тобой, как голодный волк,
снова бежал во всю волчью прыть.

Но не догнать мотылька в ночь любви —
чистое дерево ярко горит.
Если б не пожалела ты
жадного волка с далекой горы,
сдох бы от жажды у чаши без дна...
Но ты не бросишь меня в лесу:
сядешь бесшумно на ложе из льна,
сбросишь вуаль в золотую росу.

Дашь мне воды из лесного ручья,
дашь мне песок из сибирской реки,
и вдалеке укажешь маяк,
что у излуки зажгли рыбаки.

И, утолив полуночный жар,
вместе взлетим на крыльях твоих.
Цифры одни на ладонях у нас,
пропуск к реке — один на двоих.
Смирный рыбак скажет нам подождать,
тихо шагнёт за незримую нить,
снимет с цепочки ключи и печать
и разрешит остаться здесь жить.

2001

* * *

Перевёрнутый дождь в отражениях крыш —
это ночь расправляет суставы.
Проглотив двадцать капель, ты вновь утвердишь
свое вечное мрачное право
забывать жаркий шёпот октябрьских дней,
привыкать к тишине телефона...
Кутерьма городов сеет клочья теней
между полок плацкартных вагонов.

2002

* * *

Гул событий увядших дней,
в окнах порванный свет.
Голос из дома с решёткой огней
врёт, что прошлого нет.
Завтра я наберу опять
номер из джазовых нот.
Я ничего не боюсь сказать —
слушай, крошка-енот:
за руку вместе по узкой тропе,
или на скользкий карниз,
брызги вчерашних утех и потерь
смоют сомнения с лиц.
Выйдем ли завтра к бескрайним полям,
или сорвёмся в снег,
снимки шагов по нашим следам
лягут в одно досье.
Ветренным утром седой комиссар
выведет поезд на круг,
капли дождя на песочных часах
скроют неясный испуг.
Всё, что ты тщишься узнать обо мне,
что не узнать самому,
выцветит краской в экранном окне
мой поцелуй-самум.

2002



II

ЛИСТЫ ИЗ АРХИВА



УЗНАВШЕМУ В СЕБЕ ПОЭТА

Не бойся того огня,
в котором ты был рождён.
Не бойся смотреть туда,
где солнце подобно крови.

Ты первым ступил на мост,
покинув тесный погост.
Тобою освобождён
родник зияющей нови.

Прорезав истлевший кров
фонтаном истошных нот,
ты встал на призрачный плот,
где небо тлеет сиренью.

Твой страх — уже не пастух,
и ветер греет твой слух.
Ты взмыл в упрямый полёт,
прикрыв себя верной мишенью.

1994

* * *

о.

Марсианские реки текут до утра,
и заря разливается вверх по течению.
Отпусти меня с миром, настала пора
умереть, чтобы завтра успеть к воскресенью.

Солнце движется вяло по плоскости дня,
серебро разливая над всякою тварью.
Я плыву против ветра, воды и огня,
твои губы горят в синеве киноварью.

Алюминиевый парус, стеклянный штурвал,
волны ртути стучат о свинцовый форштевень.
Заколдованный ветер охрип и устал
разбиваться о мачты серебрянный стебель.

Захлебнувшись от вихря трагических тем,
мой безумный корабль опустился ко дну.
Я пою лишь затем, я пою лишь затем,
чтобы вновь научиться ценить тишину.

1992

ПЕСНЬ САЛОМЕИ

*...J'aime l'horreur d'être vierge et je veux
Vivre parmi l'effroi que me font mes
cheveux.*

Stéphane Mallarmé, «Hérodiade»

Я — глубокая тёмная бездна,
Я — река без конца и начала.
Я себя отдаю безвозмездно.
Отплываю, не зная причала.

Я люблю твои тёмные кудри,
твоё бледное тощее тело,
твои злые, холодные губы.
Я люблю без стыда и предела.

Мои волосы — хищные змеи.
Моя девственность — тёмная тайна.
Моя праведность — роль Саломеи.
Моя участь грешна и печальна.

Я любила тебя безвозмездно,
погубила тебя беспощадно.
Я — глубокая, тёмная бездна.
Кровь и бусы — на платье нарядном.

1993

ПАСХА

Восторга щемящий ладан
пронзил города и веси.
Победой взвилась лампада:
ликуйте, Христос воскресе!

Вчерашним дождём размылась
поста ледяная сбруя.
И ныне сбылось, что снилось:
от Надьки три поцелуя.

1993

* * *

Амур вонзает калёные стрелы
в нашу унылую плоть.
Он манит на запад
тех, чья отчизна — восток.

А вслед бегут усталые люди,
крича, что пора бы и меру знать,
но он не хочет знать меры,
ведь он всё-таки — бог.

1993

* * *

Кому утечи чертогов брачных,
кому причастье из чаши жизни,
а мне — холодный уют асфальта,
дым сигареты — как ладан, сладок.

Прохлада ночи нежнее ласки,
что дарят мертвым Адама дочери.
Меня не вызовет к жизни брэнной
улыбка бледной рабы Ашгарты.

Меня тревога мятежной болью
сквозь стены мира, сквозь шторы мифа
зовёт к глубинам, сокрытым тьмою.
Моя отрада — удел Сизифа.

1994

* * *

Небо спускается медленным лифтом,
в шахте безумия — белые кости.
Скоро и я причащусь этой смерти,
воздух предела грудью отведав.

Где-то есть люди, которые знают
схему движенья небесного лифта,
кто-то поёт осанну по-птичьи,
видя, что небо становится ближе.

Небо раздавит меня своим блеском,
ангел не внемлет отчаянную плоти.
Белые люди, идущие мимо,
будут глумиться над скорченным трупом.

Плата за знанье — забвение мира,
плата за веру — ряса юродства.
Слышавший хор херувимов не вспомнит
тайную песню забытого детства.

Небо всё ближе, осанна всё злее.
В шахте безумья — усталые кости.
Боги справляют весёлую тризну,
пляшут на трупах раздавленных лифтом.

1994

* * *

Князи мира сего торжествуют,
Царь Небесный забит в тёмный угол.
Все тропинки, ведущие к морю,
замела окаянная выюга.

Зацвела сирень у окошка,
да недолго цвести ей, сердешной.
Вот уж близится всадник нездешний,
заклубилась пылью дорожка.

Заждалась жениха невеста —
всё в атласные платья рядилась.
Дождалась лишь у Лобного места,
так уж сказочка распорядилась.

Так и будет, ныне и присно,
в тридесятой земле окаянной —
озорливые лебеди-гуси
унесли мой крестик червонный.

В тусклом свете коптящей лампадки
Царь Небесный жуками изъеден.
Царский сын принимает украдкой
пяточок снисходительной меди.

Облачённая в солнце невеста
в золочёной темнице тоскует.
Развалившись вокруг Лобного места
князи мира сего торжествуют.

1994

* * *

Я бывал в этом доме не раз —
как ребёнок, наивный и злой,
я плясал вокруг каменных глыб,
упиваясь прохладой луны.

Я бывал в этом мире не раз —
как отшельник, наивный и злой,
я терзал свою глупую плоть
и блуждал перед садом пустым.

Я бывал в этом доме не раз.
Но, проснувшись, я вытер глаза
и открыл потаённую дверь
в дом, который увидел во сне.

1994

* * *

Стало пусто в моём доме,
стало тесно в моём теле.
Кислотою по ладоням
листья рая облетели.

Листья мая окропили
мою боль пустой надеждой —
чёрной желчью да крапивой
по устам, спалённым жаждой.

И никто не обернулся,
и никто не обратился,
когда мальчик безымянный
в куст рябины превратился.

Только осень злым туманом
по полям меня носила.
Бог не вздрогнул, гром не грянул,
бабка рот перекрестила.

1995

КИРГИЗ ЗАРИ

Где твой скелет, Киргиз Зари?
Ты новым светом озарил
терновых веток фонари,
Киргиз Зари...

Спой мне куплет, Киргиз Зари
о том, как храбрый Лазурит,
смеясь, упал в ночной залив,
Киргиз моей Зари.

1997



III

ПЕЙЗАЖИ И ДНЕВНИКИ



НАСТУПЛЕНИЕ ВЕСНЫ

Вчера упавшим с неба птицам
здесь проповедовал январь,
и на замке была граница,
и тускло вдаль стелилась даль.

Угрюмой очередью длинной
молчали тёмные дома.
Была бессильна медицина
назвать болезнь мою: тюрьма.

Но в света утреннем потоке
воскресли дерзкие мечты,
и вновь непрошенные строки
спешат на конкурс красоты.

Я их отдам на суд суровый,
сказав тебе, что внятно вновь
свободе пламенное Слово,
и только в ней жива любовь.

2005

* * *

Начал писать стихи, и скоро узнал пустоту
слов, не сказанных вслух, мыслей, забытых без слов.
Силишься одолеть памятью смерть и тщету.
Разумом ищешь закон в вечности дурных снов.

Сказанное хорошо и сказанное впопыхах
вместе легло в дневник, сшито в архивный том.
Старый философ почил с лавром терновым в висках,
но суета и нужда небрежны с его трудом.

Дни пролетают в делах, чьё назначение — прах.
Радуйся, патриарх! — Мальчик к весне подоспел.
В полночь приехав домой, тень на любимых глазах
ловишь. И это ты свет в них зажечь не сумел.

Дочка светла без затей. Утром ей хочется петь.
Жизни нехитрый канон ей до поры знаком.
Дашь ли ей тот порыв, что тебя научил лететь?
Сможешь ли её мир озвучить своим языком?

Завтрашний день опять на́ день приблизит конец.
(Помнишь, как вихрь надежд взрывал твоей юности ночь?)
Копишь вину и обиды, как бережливый купец.
Мир продолжает свой бег, гонит твой призрак прочь.

2006

ЖИЗНЬ ЖИВОТНЫХ БОЛЬШОГО ГОРОДА

1

«Послушай... Далёко, на озере Чад» —
в безликом людском потоке,
шум выцветших слов покрывая, звучат
о близком нездешнем строки —

как исповедь веры в непрожитое.

2

Жирафу запомнилось,
как беспощадно
июльских дней
медное покрывало
варило зарево,
столб дыма вздымало,
гарью и рёвом
давило
робкий псалом
странствующего Давида.

Не ведавший жалости
был тогда уязвляем.

Заморский тапир
потерял ориентир.

Маяки,
что видны с сизой набережной, тикали,
показывая горящие языки.

Чайки
травили морские байки.
И рвали глотки
из-за гниющей рыбы
удачливые торговки.

Полоски ползли
по бледным экранам
внутренних миров граждан.
По их чердакам
разбрелись тараканы —
каждый, как паж, был важен.

3

«Будь Брэму покорен
пытливым умом.
Линней да сподобит
тебя изумиться.
И Дарвин, познавший
причинную связь
разрозненных с виду событий,
и в жизни безмолвной червей гробовых
единство миров разглядевший,
покажет тебе, как прибрежную грязь
окраин бывшей столицы
мыслительный навык
позволяет читать,
словно зоологический справочник.»

Так тихо учил,
шелестя огурцом,
с замшелым от опыта
ржавым лицом,
гримасы бровей
утопив в бороде,
уставший от шума завуч.

Но город водил
за собою слепца,
как радостный нищий,
лишённый лица.

4

«Зашёл бы к нам, странник!» —
кафе «Завычай»
заманчиво греет жаровни.
И столики ножки расставили гордо,
как все красавицы улиц.

И дверь приоткрыта
шпионам из города
— телесная тайна
под сенью одежды.

И мысленный вихрь холодит пряный чай,
и чайки на крыши вернулись.

А дверь распатал уже ласковый зверь.

5

Не веря в восторженность
глупого ролика,
вынашивал возгласы собственной роли,
тусклыми рифмами упражняясь,
от скуки ссутулясь,
в неизменном незавидном пальто
чей-то папа.

В шляпе плавала в пуху ритмично синица.
Спицами глаз долой отсылали
незаинтересованных
неуместно одетые девицы.

Пингвины грели свои лимузины.
Шея одной из девиц
напряжённно гнулась назад,
как у птицы.

6

«На моей улице не должно быть
некрасивых разговоров»
— думал сумасшедший мальчик у арки.
И машин бы поменьше вишневых.
Есть же цвета яркие.

Так продолжалось четыре года,
И хроники этого скрытного города,
то в жар, то в смертную скуку бросаясь,
писал летописец неуравновешенный.

Эпилог был окрашен
цветом черешен.

7

«Стоп — не давай душе
наовсем забыться»
— советовали в книгах
трезвые и осторожные математики.

Осьминог возвращался
к своей синице
и вновь сомневался
в выборе странной тематики.

2006

ДИАЛОГ С НИЩИМ РЫЦАРЕМ

— Бледный рыцарь, павший в грязь,
где твой шарф пурпурный?
Что бормочешь ты, склоняясь
над зловонной урной?

— Всадник Время прочь века
гонит всё неистовой.
В царстве медного быка
не нашлось мне пристани.

Я когда-то был другим —
жил дыханьем веры.
Конопляный нынче дым
дарит мне химеры.

Мчал меня мой быстрый конь
к белой арке храма,
и будил в очах огонь
лик Прекрасной Дамы.

Но прошло немного лет,
мои страхи выросли.
Данный в юности обет
мне явился вымыслом.

Ржа проела шлем стальной
ряскою болотной,
горизонт покрылся мглой
облаков кислотных.

И душа, что вдаль рвалась
в вечной жажде боя,
чёрной желчью обожглась,
сялясь стать собою.

Не спешит коня пустить
по следам злодея,
мыслью Даму навестить
тлеет, холодея.

Век в пылу животных драм
раздаёт пощёчины
рыцарям прекрасных дам,
растерявшим вотчины.

Всё, что вечным мнилось мне —
обернулось суетой,
серым холодом в окне,
неба гулкой пустотой.

— Но ведь Дама ждёт тебя
каждый час всё преданней,
лишь мечту свою любя
в тусклом хороводе дней!

— Верил я, что к ней войду
в лучший день моей судьбы,
в жизни с ней ответ найду
на заветные мольбы.

Бредил я, и наяву
видел в лужах осени —
дама в гневе на траву
две слезинки бросила.

Тонкий кружева узор,
что в любви, томясь, плела,
потупив горящий взор,
кредиторам отдала.

Ожерелье из камней
порвала в полночный час,
письма съёжились в огне,
уголёк в печи погас.

И с тех пор закрыт мне путь
в тот пропахший былью дом.
Лишь встаёт, стесняя грудь,
памяти бессвязный ком.

— Но в стране твоей мечты
ждут нектар твоих стихов
люди, чьи миры пусты
без живящей формы слов!

— Люди из моей страны
с давних пор к словам глухи.
Души к Богу холодны,
в них не властвуют стихи.

Я и сам уже не тот:
голос стал и слаб, и груб.
Слух, устав от грязных нот,
не приемлет вещей труб.

Грех пристал к душе, как мех,
кожи ближе стал, и я
ветхий свой несу доспех
в дом-музей Грааля.

1997, 2006

ОСЕНЬ ВОСЬМИДЕСЯТЫХ

В долинах зрела конопля,
был вкрадчив веток хруст,
и у смущённого Кремля
садился лётчик Руст,

когда сверчок в моих часах
мне тихо «Стоп!» сказал,
а навигатор в небесах
на запад указал.

Я бросил всё, чем был богат,
но прихватил с собой
два деревянных сундука,
набитых мишурой:

монетку медную с гербом
Литвы перед войной,
двенадцать гномов в колпаках
и чёртика с клюкой;

обёрток разноцветный рой
с обглоданных конфет,
и с ярко-чёрной кобурой
блестящий пистолет.

Я думал, что возьму с собой
горсть образов в словах
певца, под чей гитарный бой
хмелела голова.

Но непохожесть языка
и асинхронность вёсен
стянули робкий пульс стиха
немою болью дёсен.

Другая стыла тишина
в лесах, где дуб и клён
в моих заморских письменах
не чли своих имён.

Но я не верил, и в ответ
насмешкам знатоков
я бросил в пустоту их лет
сухую россыпь слов.

Ещё я бросил им в лицо
(ужасно крикнув «Пли!»)
то шоколадное яйцо,
где робот был внутри,

монетку медную с гербом
неведомой страны,
и ручку с золотым пером,
хранимую с войны.

Обёртки яркие сжевал
и тоже бросил вслед.
Я долго-долго разряжал
свой чёрный пистолет.

Мой символический разбой
в лучах рассвета стих.
Я сел наедине с собой,
и мне явился стих.

Я в нём прозрел, что улечу
за тридевять морей
и в тридесятом разыщу
страну судьбы моей.

Я клялся больше никогда
своими не считать
в линейной сетке города,
где предана мечта —

дома из бурых кирпичей
на много миль вокруг,
засыпанный землёй ручей
с кривой табличкой «Брук...»;

залив, где чайки так кричат,
как вороны в лесу,
арахисовый сладкий чад,
и жёлтые таксо —

не признавать и не любить,
и, пусть пройдут года,
уехав прочь, забыть, забыть —
вполне и навсегда.

Двенадцать гномов в колпаках
вели свой хоровод,
и мишура из сундука
змеясь, ползла. И вот

той клятвы пепел гробовой
во рту давно горчит.
Мне чёртик в такт стучал клюкой,
и до сих пор стучит.

2006, 2010

ЗАБАЙКАЛЬЕ

Синих гор череда на востоке
отразилась в сиянии запада.
Ливень скрыл хутора в несусветном потоке,
поднял волны животного запаха.

Там, на склонах, священные камни
на гостей с затаённой угрозой глядят.
На закате у хижин захлопнуты ставни,
будто веки у спящих ягнят.

Мальчик с острым копьём в камышах притаился —
караулит ленивую щуку.
Серый клин журавлей тенью к облаку взвился
и исчез без единого звука.

Скоро кончатся дни сенокоса,
и тягучий мотив запоёт мошкара,
словно хор поздравителей разноголосый
возле свадебного костра.

Книга древних сказаний и мифов
пополняется летней порой,
где бессменный бурлак длит свой подвиг Сизифов
под седою сибирской горой.

2003, 2007

ПЕТЕРБУРГ

I

Трамвай со скрипом выбрался на мост.
Холодный мрак внезапно расступился.
В нём сонный город ясно проявился —
он у реки лежал во весь свой рост.

С решёткой славной эфемерный сад,
где боги мёрзнут в ящиках постылых,
для странников безмолвных и унылых
закрыт, как много лет назад.

Старушке всё труднее разглядеть
на пустыре знакомом силуэты
особняков, где, кажется, поэты
ласкали локоны стыдливых дев.

Покойников недобрые глаза
на тротуары из углов взирают.
Они прохожих там подстерегают,
словно хотят за что-то наказать.

Их подмастерья у ларьков стоят,
полуслова, осклабясь мрачно, цедят,
о женской крови воспалённо бредят,
сушёных гадов пальцами едят.

Воскресший Пётр, в рыцарском плаще,
как старь, имперским духом окрылённый,
в густой туман таращит глаз зелёный,
раздвинув веки бронзовых мощей.

Его мечты по-прежнему дерзки,
и в новый век — сложнее и капризней.
Привычным жестом царственной руки
он провожает новые полки
в свой парадиз, не созданный для жизни.

А здесь — клубится кровожадный рой,
неугомонный рой голодных духов.
И невозможно сделать вдох большой,
не наглотавшись холода и пуха,
отравленных столетнею тоской.

II

Трамвай нырнул в сиреневую мглу.
Дома стояли, стряхивая ключья
запретных грёз, увиденных воочию.
Аборигены мёрзли на углу,
заглядывая в сумрачную глубь
сквозь краткий день скользящей вечной ночи.

Ворота, щёлкнув, выпустили в свет
гремящую рессорами карету,
но век прошёл, и сторожа уж нет,
а тихий дворик так же ждёт поэта.
Здесь жизнь достигла призрачной весны,
и улеглась, укутанная в сны.

По узким линиям не катится вода,
но, как бесцветные эскизы отражений,
на ненадёжный лёд ложатся тени
покинувших свой дом, чтоб навсегда
шагнуть в доступные блаженным города
и влиться в сонм беспомощных видений.

Чтоб в реку времени не канул пешеход,
здесь тротуар, как пристань, огорожен.
И он шагает, хмур и осторожен —
«бензин вдыхает», бедностью — гордится,
судьбу — как это принято, клянёт,
но изменить ей и в мечтах стыдится.

Наряжен белый переплёт твоей реки.
Её простор зовёт, чтобы согреться,
затеять ярмарку или игру в снежки,
но яркие фигурки конькобежцев
искрятся там, где во дворцах, застыв,
как глыбы льда, темны голландские холсты.

Сдержать стремление вещей к концу
здесь тщится изгородь, там — трогательный навик
давать им звания, что были бы к лицу
их предкам. Жизнерадостны и правы
те, что вобрав в себя твой строгий лик,
спешат домой на тёплый материк.

III

А. К. Гастеву

Трамвай летел по каменным мостам,
весь в ярости машинного азарта,
навстречу тонким золотым пластинам
встающего над горизонтом Завтра.

Вожатый шурил веки у руля,
и мускулы сжимал от нетерпения,
и на горящих бронзой куполах
он различал счастливые знамения.

Но Завтра было сумрачным. Лет тридцать,
замкнувшись в круг, покатаются в залив,
и купола оденут власяницу,
а луч прожектора зароется в пыли

зловещих ям, что вырастут в местах,
где чёрным градом сыпались снаряды.
Следы осколков в ледяных сердцах
не заживут. И люди будут рады

когда обычное животное тепло —
не дар богов, не пламя вдохновения —
в их жилах разольётся тяжело,
как влага медленной реки забвения.

И огрубеет немощный язык
застывших с ярким образом расцвета
на шторах век, переживая миг,
как лёгкий вальс, проигранного лета.

Трамвай бежал по ветхой мостовой
со скрипом, дребезжанием и звоном,
и призраки сидели на его
скамейках низеньких в пустых вагонах.

Всё чаще рельсы рушила волна
не невских вод, а хаоса немного
пространства, где от векового сна
в гортанях высыхает Слово.

В разрытую окраинную глушь
пыль отдалённых звёзд врывалась залпом.
К замёрзшим пассажирам на углу
трамвай подкрался тихо и внезапно.

2006

СНЫ ГОРОДА О РЕВОЛЮЦИИ

Сердце выклевал ночью двуглавый орёл —
урод из витрин Кунсткамеры.
Утомлённый охранник поглаживал ствол,
засышая, читал Мураками.

Колыбелька, подхваченная грозой,
по разъятому Троицкому катилась.
И влюблённому Троцкому нежной Розой
его революция снилась.

Вот пьяный курсант с бейсбольною битой
по лестницам Зимнего движется гордо,
вот тела хранительниц на площадь, убитые,
летят, как флаги в День Города.

Колесо эпох прошло полный круг —
люди в рясах, кирасах, погонах,
перед рёвом толп подавив испуг,
с трибун возглашают законы.

Если выехать летом на острова —
там поместная знать незнакомая
перекрёсткам диктует свои права.
Это — пьеса про жизнь насекомых.

На Крестовском заперты разъярённые звери
в эпицентре глумливого амфитеатра.
Но нет пара в котлах для новых мистерий,
и недвижим свирепых лозунгов ватман.

Колыбелька — у берега спустя сотню лет.
Моисей мутировал в марксиста с посохом.
Вход на мост патрулирует чёрный берет,
и Госстрах стоит у попитра, как Ойстрах.

Сочной зеленью с древа неожиданных свобод
у «Авроры» плавают сгустки гнева нашего,
и вдоль пыльных стен вчерашних слобод —
«Власть рабочим!» — тянется красной гуашью.

2006

ЧИЖОВ

Чижов — колдун, мечтатель и эстет.
Цветастый шарф обмотан вокруг горла.
Приезжий друг сказал, что он — поэт,
и он ступает широко и гордо.

Чижов выходит в пасмурную ночь
и влажный воздух сглатывает жадно.
Он чувствует, как с болью и трудом
в глубинах лёгких вырастают жабры.

Он в старый дом зашёл на огонёк —
ему пригрелся очаг домашний.
Но здесь — снобизм, и скука вечных склок,
и запах курица позавчерашний.

«Чижов! Чижов! Оставь мне свой кисет!» —
он слышит возглас, брошенный вдогонку.
Сгорают столбики заморских сигарет,
и дым струится высоко и тонко.

Он этот город покорять устал,
всю жизнь слывя в нём больше, чем собою.
Толкнув ногой картонный пьедестал,
он весь смешался с сумрачной толпою.

Толпа — страшна, и лик её дремуч...
Поверх голов, опущенных понуро,
он видит контуры оживших туч
и тусклых звёзд знакомые фигуры.

Как великан старинный, неуклюж,
он в тёмный парк бредёт, почти не глядя,
и зыблет белую поверхность луж,
лишь небо видя в их зеркальной глади...

2006

* * *

Я получил лишь то, о чём просил,
и что испытать был до конца не в силах.
Ты получила то, о чём просила —
Господь за нами бдительно следил.

Он мало вмешивался в ход вещей —
лишь раз Его дыхание опалило
привычный холод северных ночей.
Затем всё физика определила.

И, обрета ответ, я вновь стал тих —
молиться за себя считал за дерзость
и к Богу обращал лишь нежный стих.

А Он смотрел мне вслед рублёвским ликом
и отступал. Вокруг слепая мерзость
косой вращала в сладострастье диком.

2006

СОН ОБ АМЕРИКЕ

Я в мыслях брёл по Африке бесснежной,
но в незнакомую Америку попал.
Там в дымке шумной улицы прибрежной
зиял луны фарфоровый оскал.

Там всё — мечта. Но зыбкая фактура
мечты для всех до крайности скудна.
Дома, как мебель, погружают в фуры,
на них — как ценники, хозяев имена.

Над пляжем реет флаг, прямой и пёстрый.
Его узор, как детский ребус, прост.
Но гитлеровский взгляд, больной и острый,
пронзает каждую из этих белых звёзд.

В тоннеле, за стеклянную преградой,
стоит, в хоккейной маске, моя смерть.
И я бегу от её каменного взгляда,
но из-под ног, скользя, уходит твердь.

Я вниз лечу и в наважденьи странном
слова реклам беспомощно читаю.
Я часто мысленно брожу по странам,
и в призрачной Америке бываю.

2007

ОДИН ДЕНЬ ДЖОНА ДЕНИССОНА

От рожденья несущие свой приговор,
ежедневно просящие об отстрочке,
дружно едут в трудовую колонию,
проветриваемые свежестью новостей,
изолированные персональными ритмами,
с виртуальными друзьями на проводах.
Вся их жизнь — медленная дорога
на большую серую фабрику.
«Arbeit macht frei» — написано
на скрижалях их ветшающего завета.
Евреи и поляки,
забывшие свои языки и прозвища.
Итальянцы,
отвыкшие от игры в футбол,
но не забывшие его механику и овации.
Автобус на несколько минут
застрял на границе двух штатов.
Передние колёса — в точке А.
Задние — в точке Б.
В середине два парня, сцепившись сумками,
задирают друг друга.
И будут судимы по разным,
равно неведомым им,
законам.

2007

РИМ

Когда я Рим увидел наяву
впервые после века ожиданий,
догадки смутные сверлили ум,
в висках шумели волны узнаваний.

В садах камней лягушки голосили,
цикады пели в баллюстрадах трав.
И родина, что больше, чем Россия,
мне открывала земноводный нрав.

И прошлое, что больше, чем мой опыт,
росло впотьмах колоннами теней.
И остров, что зовёт себя Европой,
белел у ног в сплетениях корней.

На площадях в живой воде фонтанов —
влюблённые всех наций и времён,
а над античным склепом — ангел пьяный,
и чашей опрокинут Пантеон.

И тиной пахнут тёплые порывы
речного ветра в прорезях мостов.
И торопливой речи переливы
доступны мне без разделенья слов.

Я шёл по Риму. Сосны и руины
сливались в пёстрый золотой ковёр,
и гладиатор, что сошёл с картины,
мне угрожал игрушечным копьём.

По вечерам в звенящей тишине
здесь оживают призраки столетий,
и мрамор стен купается в луне.
Таков мой Рим. А есть ещё и третий?

2007

МОСКОВСКОЕ УТРО

Причудливую песнь завёл
в прозрачной роще соловей
на посвежевших склонах гор —
гор Воробьёвых.


Весёлый ветер, пролетев,
обрызгал пеной берега
и за изгибом их исчез.
Река притихла.

Бывалый велосипедист
отчаянный проделал трюк
и спрыгнул на сухой гранит
пологих лестниц.

Огромный Университет
пронзает шпилем облака
и крутизною белых стен
античность славит.

Парад водителей лихих
начнётся через час-другой.
В зигзаги улиц на холмах
они вольются.

Внизу лежит в тумане дня
мой город, как спокойный зверь.
В нём купола монастырей
меж труб теряются фабричных.



У каменных границ Кремля,
как спичечные коробки
и как флакончики духов,
стоят высотки.

Своих растерянных детей
Москва встречает песней птиц,
и провожает их без слёз,
и ждёт обратно.

2007

ОРЛЫ В ЗООПАРКЕ

Под сеткой купола внимательный орёл,
с земным царём в бесстрастии сравнимый,
застыл в раздумии — ни мрачен, ни весёл —
над ограждённой прутьями равниной.

На перекладинах соседствуют божки.
Орёл двуглавый — неживой владыка —
предпринимает робкие шажки,
в когтях сжимая шарики из лыка.

Орёл немецкий скромно-суетлив.
Он чистит клювом жерди у границы.
Но кровь засохла в трещинах петли,
и мерзок профиль дряхлого убийцы.

Фаланги лап на камне распластав,
мохнатый идол Речи Посполитой
пылит большими перьями хвоста,
и бьётся, будто селезень подбитый.

И лишь заморский белоглавый гриф
парит над европейскою равниной,
где сдан в музей последний славный миф,
и млеет пара англичан у клетки львиной.

2007

* * *

Высохший дождь на шершавых щеках,
мутные контуры лиц.
Ждущие глаз чертежи баррикад
рвутся с горящих страниц.

Дробью — по стенам, в бельма глазниц —
мимо раскрошенных стен.
Мёрзлая оторопь брошенных ниц
гложет крупницы измен.

Кто без вины здесь огня пожелал —
в винных парах у стола.
Узкий ведёт в небеса тротуар,
меркнет их глаз синева.

Красною вспышкой в экране окна —
тридцать девятый аккорд.
Звонкая нота, как пуля, остра,
струн перебор длится год.

Там, за стеклом, на разбитом щите —
краской: ЗАО «Волком Вой».
Кто со щитом — тому мчаться в узде,
строим — на взмыленный строй.

Кто на щите — тому в тихой нужде
лета счастливого ждать,
счётом созвездий и ловом дождей
дней череду коротать.

Вот и развязки приблизился срок —
освобождая вагон,
просишь у памяти впрок огонёк
под нарастающий звон.

2000, 2010

НЬЮ-ЙОРКСКИЕ ЗАРИСОВКИ

1. Чайки

Я люблю наблюдать в этом городе чаек.
Они стервозны, у них рыночные отношения.
Что-то очень людское мне слышно в их криках,
простых, как делёжка и размножение.

У них — своя биржа, свой суд и парламент,
свой общинный центр, своя синагога.
У них нет лимузинов, но когда их много,
они мчатся над пляжем, как стая гопников.

Если станет реальностью освоение космоса
(а я в этом ни капли не сомневаюсь),
и ковчег с земной тварью отправится к Марсу,
я уверен, что чайки в нём будут из первых.

Ведь они — ярчайший успех эволюции
и свидетельство правды учения Мальтуса.
Они взяли от нас всё самое лучшее,
но не впали в соблазны идеализма.

И не зная слов, голоса во всё небо,
превзойдя в этом многих исполнителей рэпа.
Они славно ныряют и изрядно пернатые,
возвещая триумф авиации НАТО!

2. Хэллоуин

Нью-Йорк было спрятал
вампирский прикус
за брэкет-системой
пожилого тинейджера.

Но в Хэллоуин,
смяв кордоны и маски,
опрокинув устои,
его челюсти впились

в мягкую, жирную
оголённую плоть,
в честную частную
жизнь...

Клыкастый мужчина
срывал восторги,
тряся всей длиной
массивного торса.
Коса из фанеры,
кровавые пальцы,
череп на цепочке,
всё измазано слизью.
(Перестав ходить к мессе
и верить в приметы,
народ потянулся
к простой чертовщине.)
Парад секс-превращений,
бахвальства и крика
плескался в тисках
берегов из асфальта.

Из-под чёрной полы
бутафорский ножик
в спышке света остался
точёной отвёрткой.
Два-три резких взмаха
и алая лужа.
Разлетелись картонные
пальчики трупов.
Визг ужаленных ведьм,
завыванье сирены.
На бой с вурдалаком
не пришёл Гарри Поттер.
Было странно смотреть
на мёртвые лица
в фиолетовой слизи
и кровавой гуаши.

А в хмельном угаре
кредитного бума
в проржавелом порту
открылась «ИКЕА»:

К обитателям свалок
и домов-богаделен
пришёл постмодернистский
заводной Санта-Клаус.

Темнокожая леди
обсуждает с соседом
как бывало здесь тихо
в её время оно.

В микрофонах вожатых
слышен храп или скрежет.
Поезда ушли в спячку.
Сумасшедший бранится.

А по гавани ходит
городской водный транспорт —
можно даром глядеть на
чудеса и красоты.

Но в газетах опять —
об абсурдных убийствах,
на загаженных стёклах —
фото пропавших.

Я — всего только гость.
Я поеду к Уолл-стриту
лицезреть воскрещённый
аквариум-крепость.

Говорят, в небоскрёбах
заправляют акулы.
Я их знаю, они
кротки, словно дельфины.

С ними можно пускаться
в заплывы на время,
если знать их повадки,
если корма в избытке.

Нужно просто идти
по их меченой карте,
и они никогда
не покажут вам зубы.

3. Зимнее

Заснежен город. Ангелы бредут,
пересекая ледяной проспект.
Вот стайка Попугаев на лету
роняет перья в их стерильный след.

В ветвях Опоссум обновляет путь,
сощутив глаз на непривычный свет.
А Белки сплёвывают скорлупу,
иль прячут жёлуди в гнилой листве.

В фуражке Некто
табакерку и мундштук
на большаке из Витебска в метель
упрятал в чёрный выходной сюртук —
вот век проходит, как тяжёлый хмель,
а он всё роет снежную постель
под гнётом невосполненных потерь.

Пернатый с Вихрем давний спор ведут,
а Призрак с Облаком, по простоте
вершат, обнявшись, Всешутейший Суд.
Поэзии мерцающий Сосуд
полупустой, на холмике костей,
вскипая, ждёт неведомых гостей.

4. Аквариумное

сыну Юре

Динозавры замерли в ожидании
весны мертвецов. Хохолки пингвинов
и к рассвету припудренные фасады зданий
на последней у моря прочерченной линии.

Трилобиты и кистепёрые рыбы,
в янтаре закатанные моллюски-крошки,
что из списка Ноева, выпав, выбыли,
разойдясь на бусы, серьги и брошки.

И единство сущего — очевидно,
когда, словно бы пожилая матрона,
в ластах-ладонях полощет выдра
складки лица в бассейне зелёном.

Динозавры в берлогах тлеющих зданий
чертят планы нового Иерусалима.
И, прервав цепочку воспоминаний,
отец поправляет весёлого сына.

2010

ЕВАНГЕЛИЕ

Евангелие о страстях
поётся в Чистый Четверг.
Четыре чёрных гвоздя
всё также остры в мой век.


Но каждый спокоен и тих,
и каждый принять готов
завет, пред которым стих
немеет в бессильи слов.

А страсти давно улеглись.
И ноша — приятно легка,
и жертвы кровавой угли
всяк держит без дрожи в руках.

Но слышен о новых страстях
рассказ досужий вполне —
в нём кто-то в болтах и гвоздях
распят на взрывной волне.

И вновь не принять, не принести
тот дар, что может спасать.
И стынет кровавая весть
на чёрных от страха устах:

он — плотью своих сестёр
накрыл смертоносный дзот
и с песней пошёл на костёр,
с молитвой — на эшафот.



Гореть ли ему в аду?
Вдыхать ли безбрежный свет?
Я в сердце моём не найду
достойный, ясный ответ.

Но слабый и тонкий луч
забрезжит в кромешной мгле,
и в тёмном моём углу
он что-то напишет мне:

тому, кто иллюзии за
распят в темноте веков,
без страха посмотрит в глаза
лишь тот, кто распят за любовь.

2010

АМЕРИКЕ

Твоя светская ловкость
не смущает мой разум.
Светскость знает уловки —
те, что светятся сразу

под прицельным огнём
и на горних высотах.
По ночам во Вьетнаме
горят рощи и хаты.

Жизнь по букве закона —
благодать не из новых.
Был Господь по закону
продан, предан, оплёван.

Вечный факел Свободы
светел неугасимо,
а на пристань ложится
зола Хиросимы.

2010

* * *

памяти Гастевых

«Р-рыба! Р-рыков! Рыба! Рыков!» —
Петя учит речь родную.
В небесах ревущих звуков
черти рвутся в проходную.

«Р-рыба! Р-рыков!» — лает Петя.
Буква «Р» даётся туго.
В зазеркальном странном свете
нету ни отца, ни друга.

Нет ни матери, ни брата
на последнем переходе.
На Декартовы квадраты
всё расчерчено в природе.

В белых — можно отлежаться.
В чёрных — пули чёрным градом.
Вот бы только продержаться
до опушки — той, что рядом...

Но, осколками пробиты,
рассыпаются квадраты
ключьями стихов забытых
в белизне подслеповатой.

1999, 2010

* * *

С крепкой надеждой, что Бог сохраняет всё,
утро сменяло ночь на заре моих дней.
Было бесценным и то, что только прошло,
и то, что едва виднелось из бездны теней.

День начинался, как чистый тетрадный лист,
с неба Москвы в умытом квадрате окна.
Вечный пустырь, котлован, телебашня вдали —
кадры пейзажа, который не звал и не гнал.

Карта, где дом мой стоял в самом центре Земли,
многожество ящичков с яркою ерундой,
летние лужи, двор в тополиной пыли,
гладкий порог у входа в бабушкин дом...

Он уж давно под асфальтом. Её — увезли
в белую глушь палат, в последний приют.
Старый фонарь с петухом тускло светит в углы,
где её тени беззвучно и скорбно снуют.

Кактус-ровесник, ветвящийся у окна,
летом засох и сломался. Не капает мёд
с нежных цветков. Из листьев алоэ она
не приготовит мази на будущий год.

Где этот мир? Мой шалаш из еловых ветвей,
маленький табурет с подтёками голубой
масляной краски, медовых соцветий веер,
домик с кукушкой, курантов утренний бой?..

С детской надеждой расстаться пора бы давно,
но не смолкает она даже в смертный свой час.
Пух тополей белоснежен, как в старом кино,
и, как в кино, самолёты плывут, не спеша.

Стены катка высоки, будто стены Кремля.
Память его превратила в сияющий храм.
Там, у стены, потерял себя в зарослях трав
мальчик, который не знает, что он — это я.

2010

* * *

Татьяне

Ты, как яркая птица, влетела в мой мир
и осталась в нём навсегда.
Соловей, певший в сумерках, не узнаёт
свой залитый свечением дом.

Я люблю тебя так, как земля любит свет,
сквозь ненастья, труды и года.
Смерть боится уснуть под шатром, где, смеясь,
наши души танцуют вдвоём.

2010

* * *

Променять на отраву сплошных автострад
маету непочатых полей?
Променять на настой опьяняющих сакур
дремотный отвар тополей?

Или просто войти в ледяной Китай-город
по следу ушедших под снег,
зажигая огни маяков, по которым
лететь невозможной Весне?

2010

НОЧЬ ЗА ОКОЙ

«На все вопросы рассмеюсь я тихо...»

Э. Шклярский, «Иероглиф»

Я ехал, чтобы сделать лёгкий вывод.
Я мерил вёрсты дали законной.
Я знаю точно — чтобы быть счастливым,
достанет ночи в поле за Окою.

И нет ответов на мои вопросы,
и нет вопросов под мои ответы.
На лунном поле — радужные росы,
в прозрачной роще — радостные ветры.

2010

* * *

В полях восходит Красный Серафим.
В янтарной ржи
из рос хрустальных многоцветный нимб
легко дрожит.

Вот новый день, увиденный в стихах,
всё ярче жжёт
обрывки памяти в стальных тисках
жестоких нот.

Симфонии, услышанной в ночи,
последний такт
несут в лиловых мантиях грачи,
как грозный факт.

2010

СОДЕРЖАНИЕ

5 / РАССМАТРИВАЯ «РИСУНКИ НА ПОЛЯХ ПАМЯТИ»

Предисловие В. Гандельсмана

I НАБРОСКИ И ПОРТРЕТЫ

- 10 / «Когда мне не хватает слов...»
11 / Рождество
12 / «Я узнал тебя только тогда, когда пыль Петрограда...»
13 / «В тени фруктовых рощ...»
14 / Старая Ладога
16 / По мотивам Гессе
17 / «Пусть льётся воск на саван мертвеца...»
18 / «Богатырей волнующие плечи...»
19 / «По вечерам я творю чудеса...»
19 / «Гибель духа — духота...»
20 / Неяркий портрет на полях памяти
21 / «Дланью долгой лился долу...»
22 / Рисунок для верующего
23 / «Я смеюсь и глумлюсь над довольными жизнью своей...»
24 / «Она ходила в кружок при Эрмитаже...»
26 / «В этой комнате едкий, искусственный дым...»
27 / «Умирать — так с музыкой...»
28 / «отпечатки пальцев...»
30 / «Рыжая Соня в ущелии Смерти...»
31 / Невыполненное обещание
32 / «Тихо в комнате, жарко и пусто...»
33 / «Если тебя нет смысла искать...»
33 / «Нет, ты не узнаешь меня ближе...»
34 / Сон в белую ночь
35 / «Перевернутый дождь в отражениях крыш...»
36 / «Гул событий увядших дней...»

II ЛИСТЫ ИЗ АРХИВА

- 38 / Узнавшему в себе поэта
39 / «Марсианские реки текут до утра...»
40 / Песнь Саломеи

- 41 / Пасха
- 42 / «Амур вонзает калёные стрелы...»
- 43 / «Кому утечи чертогов брачных...»
- 44 / «Небо спускается медленным лифтом...»
- 45 / «Князи мира сего торжествуют...»
- 46 / «Я бывал в этом доме не раз...»
- 47 / «Стало пусто в доме моем...»
- 48 / Киргиз Зари

Ш ПЕЙЗАЖИ И ДНЕВНИКИ

- 50 / Наступление весны
- 51 / «Начал писать стихи, и скоро узнал пустоту...»
- 52 / Жизнь животных большого города
- 56 / Диалог с нищим рыцарем
- 59 / Осень восьмидесятых
- 62 / Забайкалье
- 63 / Петербург
- 67 / Сны города о революции
- 69 / Чижов
- 70 / «Я получил лишь то, о чём просил...»
- 71 / Сон об Америке
- 72 / Один день Джона Дениссона
- 73 / Рим
- 74 / Московское утро
- 76 / Орлы в зоопарке
- 77 / «Высохший дождь на шершавых щеках...»
- 78 / **НЬЮ-ЙОРКСКИЕ ЗАРИСОВКИ**
 - 78 / 1. Чайки
 - 79 / 2. Хэллоуин
 - 82 / 3. Зимнее
 - 83 / 4. Аквариумное
- 84 / Евангелие
- 86 / Америке
- 87 / Памяти Гастевых
- 88 / «С крепкой надеждой, что Бог сохраняет всё...»
- 90 / «Ты, как яркая птица, влетела в мой мир...»
- 91 / «Променять на отраву сплошных автострад...»
- 92 / Ночь за Окой
- 93 / «В полях восходит Красный Серафим...»

поэтическая серия
Библиотека журнала «**Дети Ра**»
книга двадцать первая

РИСУНКИ НА ПОЛЯХ ПАМЯТИ
Алексей Ткаченко-Гастев
Стихотворения

Редактор — Евгений Степанов
Художественный редактор — Джемма Смит
Компьютерная верстка, макет — Скотти
Корректра авторская



Бумага офсетная
Гарнитура Petersburg
Тираж 500 экземпляров
Сдано в набор 15.07.2010
Подписано в печать 21.07.2009

Библиотека журнала
«Дети Ра» (издательство «Вест-Консалтинг»)
109378, г. Москва, Есенинский бульвар,
д. 1/26, корп. 1, офис 34. Тел. (495) 978-62-75
Типография ИПК «Квадрат»,
Белгородская обл., г. Старый Оскол,
проспект Комсомольский, 73.